ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Публикуемый ниже материал представляет собой речь, с которой А. Бергсон выступил в феврале 1904 г. в Париже, на заседании Академии юридических и политических наук. В 1901 г. он стал членом этой Академии и в соответствии с традицией должен был произнести речь в память о своем предшественнике, чье место он занял после его кончины. Бергсон, "унаследовавший" в Академии юридических и политических наук место Феликса Равессона (1813–1900), воздал ему должное, подробно рассказав о его жизни и сочинениях. Речь эта затем несколько раз публиковалась и наконец вошла в последнее прижизненное издание Бергсона – сборник "Мысль и движущееся" (1934)[1].

Но это – сторона формальная. Важнее, что Бергсон говорит здесь не просто о своем предшественнике в Академии, но об одном из своих учителей, о человеке, разрабатывавшем в XIX в. во Франции принципы спиритуалистической философии, которые воспринял и развил позже, уже в конце этого столетия и в первой трети XX в. сам Бергсон. Поэтому его слова о "двадцати поколениях учащихся", знавших наизусть важные для них страницы из трудов Равессона, передают и личные впечатления, собственный опыт Бергсона. Речь о Равессоне не была для Бергсона сочинением "по случаю", а имела самостоятельное значение: это подтверждается тем фактом, что он позже включил ее в сборник своих работ, где были опубликованы столь важные, можно сказать, программные его произведения, как "Введение в метафизику" и "Философская интуиция" Обычно такой отбор Бергсон производил очень тщательно, и случайная работа там просто не могла оказаться.

Вообще подобного рода биографические очерки совсем не часты в творчестве Бергсона. К примеру, в тот же сборник "Мысль и движущееся" вошли, кроме работы о Равессоне, только два очерка такого рода: "Философия Клода Бернара" и "О прагматизме Уильяма Джеймса": в них тоже речь идет о людях и концепциях, имевших для автора особое значение.

В своем обстоятельном рассказе о Равессоне Бергсон основывался не только на его опубликованных сочинениях, но и на архив-

[1] *Bergson H.* La vie et l'oeuvre de Ravaisson // Bergson H. La pensée et le mouvant. P., 1934. P. 281, 322.

ных материалах, на собственных воспоминаниях. Не удивительно, что именно на этих сведениях базируются теперь биографические очерки и заметки о Равессоне, публикуемые в различных энциклопедических изданиях. Потому мы добавим лишь немногое к словам Бергсона, уточнив контекст и некоторые детали.

Во французской философии XIX в. существовало много течений. Наряду с позитивизмом, развивавшимся О. Контом и его сторонниками, постепенно набирал силу спиритуализм, выступавший в различных формах. Ведущей среди них некоторое время была школа эклектического спиритуализма В. Кузена, но формировались и другие направления. То из них, которое впоследствии оказало наибольшее влияние на Бергсона, связано с именем Равессона. Эта традиция очень мало известна у нас, и иногда складывается впечатление, что после длительного периода господства позитивизма во Франции как-то "вдруг" появляется Бергсон с его программой нового обоснования метафизики. Интересно, что так обстоит дело, похоже, не только у нас, – вот свидетельство французского автора: «Если говорить о французской философии, то кажется, будто Огюст Конт завладел едва ли не всем нашим вниманием, что преимущественно с ним связан наш интерес к мысли его времени. Мы не знаем большую часть того, что произошло в период между идеологами и Контом, с одной стороны, между Контом и Бергсоном – с другой. Мен де Биран, в котором Бергсон видел "величайшего метафизика, рожденного Францией со времен Декарта и Мальбранша", мало нам знаком»[2]. То же можно сказать и о многих других философах этого периода, в частности о Равессоне.

Основные идеи философии Равессона сформировались под влиянием Аристотеля, спиритуалистической метафизики Мен де Бирана и концепции Шеллинга, чей курс лекций, посвященный отношениям природы и духа, он прослушал в Мюнхене[3]. Бергсон достаточно подробно говорит об Аристотеле, упоминает о Шеллинге; а вот Мен де Бирану в этом смысле повезло меньше – о нем здесь речи нет, хотя незадолго до того, в 1897 г., Бергсон писал, что учение Мен де Бирана – это философия, "ставшая истоком всего французского спиритуализма"[4]. Конечно, философия Шеллинга сыграла

---

[2] *Pariente J.* Allocution d'ouverture // Bergson H. Naissance d'une philosophie: Actes du colloque de Clermont-Ferrand 17–18 novembre 1989. P., 1990. P. 9. Конечно, здесь есть определенная доля преувеличения, поскольку работы на эту тему выходят во Франции, их просто меньше, чем могло бы быть, если учесть значимость данной проблематики. Назовем, к примеру, работу: *Beaufret J.* Notes sur la philosophie en France au XIX^{e} siècle: De Maine de Biran à Bergson. P., 1984.

[3] По определению А. Введенского, "миросозерцание Равессона есть результат своеобразной переработки идей перипатетической философии с точки зрения лейбницебирановского динамизма и под косвенным влиянием шеллингианства" (*Введенский А.* Современное состояние философии в Германии и Франции. М., 1894. С. 299).

[4] *Bergson H.* Analyse des "Principes de métaphysique et de psychologie" de Paul Janet // Bergson H. Ecrits et paroles. P., 1957. Vol. 1. P. 127.

свою роль в интеллектуальном развитии Равессона, подсказав ему идею "спиритуалистического реализма", но создание сложных метафизических систем в духе Шеллинга не входило в его задачу. Здесь куда ближе ему была традиция исследования внутреннего опыта, фактов сознания, восходящая во французской философии к Декарту и представшая в особой форме в концепции Мен де Бирана[5]. Подобно последнему, главный метод познания Равессон видел в интроспекции (открывающей не субстанции, как полагал Декарт, а факты внутреннего опыта), а индивидуальный опыт рассматривал как основу постижения всей реальности[6]. Он усилил волюнтаристский момент, присущий Мен де Бирану, придав свободной воле статус наиболее существенного, творческого элемента действительности. Концепция Бирана послужила Равессону важным исходным пунктом при подготовке диссертации "О привычке", которая, по словам Бергсона, хоть и носит столь скромное название, фактически содержит в себе философию природы. Исследуя феномен привычки, Равессон, как и Мен де Биран, выделил в ней пассивный и активный аспекты, но его интересовал здесь вопрос не столько о влиянии привычки на способность мышления, сколько сама природа этого феномена, изучение которого привело его к гораздо более широким выводам, чем те, к которым пришел Биран. В привычке Равессон усмотрел границу, разделяющую волю и природу. История привычки, с его точки зрения, демонстрирует возврат от свободы к природе, или, скорее, вторжение естественной спонтанности в область свободы. По мере того как привычка, вначале носившая осознанный характер, становится естественной, автоматической, – совершается переход от свободы к материи. В сфере жизни привычка представляет собой, по Равессону, переход от самосознания, достигающего полного развития в мышлении, к автоматизму, в котором можно видеть "последнее основание природы" Отчетливое сознание предполагает определенный разрыв между идеей какой-либо цели и ее реализацией; эта лакуна заполняется рефлексией. В привычке же такой разрыв сокращается, а затем вообще исчезает; привычка – акт разумный, но неосознаваемый. Привычка есть, полагал Равессон, один из важнейших фактов опыта, поскольку именно в этом феномене индивиду открывается неразрывная связь духа и материи. Именно благодаря привычке человек постигает природу, предстающую ему как иерархия уровней сущего, восходящая от чистой материи к чистой форме.

---

[5] О Мен де Биране см.: *Кротов А.А.* Мен де Биран об основах метафизики // Вопр. философии. 2001. № 9. Мен де Бирана, автора работы "Мемуар о влиянии привычки на способность мышления" (Mémoire sur l'influence de l'habitude sur la faculté de penser. P., 1802), проблема привычки интересовала с точки зрения исследования отношений между физическим и душевным в человеке.

[6] Усматривая в представлениях о душе и Боге факты внутреннего опыта, Равессон называл свое учение "позитивным спиритуализмом" и противопоставлял его доктрине Кузена, которую он именовал "полуспиритуализмом". Об этом см.: *Janet P.* La philosophie française contemporaine. P., 1879.

Главное здесь для Равессона – подчеркивание идеи о том, что между природой и духом нет разрывов. Во всей реальности, от физико-химических сил до высших проявлений способностей человека – интеллекта, любви, свободы, – действует некая универсальная спонтанность, источником которой является Бог, сообщающий универсуму только часть своего совершенства, чтобы дать ему возможность самостоятельно развиваться, достигая всех высших ступеней. Эти идеи, развитые в "Докладе о французской философии", о котором подробно говорит Бергсон, Равессон под особым углом зрения изложил и в работе "Венера Милосская" ("La Venus de Milo", 1862), где показал, как под внешней строгостью форм постигается внутренняя гармония произведения искусства. Универсальную гармонию он представил здесь как божественную благодать, разлитую в вещах; такова и сама сущность природы. "Нисхождение" высшего духовного начала в природу можно сравнить, полагал Равессон, с созданием художественного произведения. (Отметим, что эти идеи оказали воздействие, к примеру, на концепцию Г. Сеайя.)

Как показывает Бергсон, взгляды Равессона постепенно завоевывали сторонников и приобретали все большее влияние во Франции. Та ветвь спиритуализма, начало которой связывают с именем Мен де Бирана (хотя его идеями вдохновлялся, к примеру, и эклектический спиритуализм В. Кузена) и представителями которой во Франции, помимо Равессона, стали также Жюль Лашелье и Эмиль Бутру, сыграла важную роль, сориентировав французскую философию в направлении, получившем наиболее развитую и завершенную форму в концепции Бергсона.

И.И. Блауберг

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО РАВЕССОНА*

А. Бергсон

Жан-Гаспар Феликс Лаше Равессон родился 23 октября 1813 г. в Намюре – в то время это был французский город[2], центр департамента

* Данный очерк был опубликован в издании "Compte rendu de l'Académie des Sciences morales et politiques" (1904. T. 1. P. 686) под названием "Жизнь и сочинения г-на Феликса Равессона-Мольена". Перед этим он был прочитан в той же Академии автором, чьим предшественником здесь был Равессон. Очерк был переиздан как введение к книге: *Ravaisson F.* Testament et fragments / Publ. par Ch. Devivaise. P., 1932. Жак Шевалье[1], член издательского комитета той серии, где вышел том, предварил очерк такими словами: "Автор вначале намеревался несколько переработать статью. Затем он решил переиздать ее в первоначальном виде, хотя его, по его словам, упрекали в том, что здесь он несколько "бергсонизировал" Равессона. Но это был, вероятно, добавил г-н Бергсон, единственный способ осветить тему, продолжая ее" (*Bergson H.* La pensée et le mouvant. P., 1934. P. 281 (примеч. ред. франц. издания)).

Самбр-и-Мёз. Его отец, занимавший должность городского казначея, был уроженцем юга: Равессон – название небольшой территории, расположенной в окрестностях Кайлюса, недалеко от Монтобана. Ребенку едва исполнился год, когда события 1814 г. вынудили его семью покинуть Намюр. Вскоре он потерял отца. Его образованием вначале занимались мать и дядя по материнской линии Гаспар-Теодор Мольен, чью фамилию он позже взял[3]. В одном письме, датированном 1821 г., Мольен писал о своем восьмилетнем племяннике: "Феликс – сложившийся математик, антиквар, наконец, историк"* У ребенка уже проявилось в ту пору интеллектуальное качество, к которому позже прибавились многие другие: он легко схватывал все новое.

Равессон учился в коллеже Роллена. Хотелось бы проследить его путь из класса в класс, но в архивах коллежа не сохранилось свидетельств об этом периоде. Из списка награжденных мы все же узнаем, что в 1825 г. юный Равессон пошел в 6-й класс, что в 1832 г. он покинул коллеж и что на всем протяжении учебы он был блестящим учеником. Он завоевал много наград на общем конкурсе, в частности в 1832 г. – почетную премию по философии. Эту дисциплину преподавал тогда г-н Поре, выдающийся мэтр, последователь шотландских философов, несколько трудов которых он перевел; В. Кузен высоко ценил его и пригласил в качестве своего заместителя в Сорбонну. Г-н Равессон навсегда сохранил привязанность к своему учителю. Мы имели возможность прочесть несколько сочинений по философии, написанных Равессоном в коллеже и ныне благоговейно хранимых в семье г-на Поре** В Сорбонне мы познакомились с сочинением "Метод в философии", которое было удостоено почетной награды в 1832 г. Это работы послушного и умного ученика, получившего хорошую подготовку. Те, кто стал бы искать в них отпечаток личности самого Равессона и первые проявления философского призвания, испытали бы известное разочарование. У нас есть все основания полагать, что юный Равессон покинул коллеж без какой-либо явной склонности к философии, еще не догадываясь о том, каков его путь. Этот путь показала ему ваша Академия.

Королевским указом от 26 октября 1832 г. была восстановлена Академия юридических и политических наук. По предложению В. Кузена Академия выдвинула в качестве темы конкурса сочинение Аристотеля "Метафизика" "Участники конкурса, – говорилось

---

* Мы заимствуем эту деталь, как и многие другие, из очень интересного сообщения, с которым г-н Луи Леже выступил в Академии надписей и литературы 14 июня 1901 г. Различные биографические сведения нам любезно предоставили сыновья г-на Равессона: Луи Равессон-Мольен, сотрудник библиотеки Мазарин, и Шарль Равессон-Мольен, помощник хранителя Луврского музея.

** Этими сведениями, как и многими другими деталями биографического характера, мы обязаны двум внукам г-на Поре, теперь также видным профессорам университета, Анри и Марселю Бернесам.

в программе, – должны будут подвергнуть это произведение подробному анализу и определить его план – изложить его историю, отметить его влияние на последующие системы, – выяснить, что в нем истинно и что ложно, какие из высказанных в нем идей не утратили своего значения до сих пор и каковы те, что могла бы с пользой для себя позаимствовать философия нашего столетия" Вероятно, по совету своего бывшего преподавателя философии Равессон решился участвовать в конкурсе. Известно, что этот конкурс, – первый, который был объявлен восстановленной Академией, – дал самые блестящие результаты, что было представлено девять работ, большинство из которых имели определенную ценность, а три были признаны превосходными, что Академия присудила приз Равессону и попросила министра выделить дополнительные средства для поощрения философа из Берлина Мишле[4], что Равессон, расширив и углубив свой доклад, сделал из него замечательную книгу. Первый том его "Опыта о метафизике Аристотеля" вышел в 1837 г., второй был опубликован лишь девять лет спустя. Два последующих тома были объявлены, но так и не увидели свет; однако и в таком виде этот труд дает полное представление о метафизике Аристотеля и влиянии, которое она оказала на греческую философию.

Аристотель, гений систематики, какие нечасто встречались в истории философии, вовсе не был создателем некой системы. Он занимался скорее анализом понятий, нежели синтезом. В соответствии с его методом, следовало исправить или обновить идеи, накопленные в языке, четко определить их, согласовать их объем и содержание с их естественными формами и способствовать возможно большему их развитию. Впрочем, Аристотель редко осуществлял это сразу; он неоднократно возвращался в разных сочинениях к одной и той же теме, следуя вновь тем же путем и все время продвигаясь немного дальше. Какие элементы включает в себя мышление или существование? Что такое материя, форма, причинность, время, место, движение? Он тщательно исследовал истоки этих вопросов – и еще сотни других; от каждого из них он отвел подземный ход и прокладывал такие ходы дальше и дальше, как инженер, который, строя огромный туннель, приступил бы к этой работе одновременно из многих пунктов. И, конечно, мы понимаем, что были выверены все расстояния, проведены расчеты, необходимые для того, чтобы все сошлось; однако стык происходил не всегда, и часто там, где, казалось, это вот-вот удастся, когда мы уже льстим себя надеждой, что осталось вынуть лишь немного грунта, мы наталкиваемся на туф, на скалу. Равессона же не могло остановить ни одно препятствие. Метафизика, представленная в конце первого тома его труда, – это учение Аристотеля, но перестроенное и приведенное к единству. Равессон излагает его на языке, который он для него создал, где за текучестью образов проступает ясная идея, где абстракции одушевляются и живут, как жили они в мышлении Аристотеля. Порой оспарива-

лась фактическая точность тех или иных переводов Равессона; подвергались сомнению некоторые из его интерпретаций; часто задавали вопрос, вправе ли историк продвигать унификацию учения дальше, чем того хотел сам мыслитель, и не рискуем ли мы, столь тщательно согласовывая друг с другом части доктрины и столь тесно увязывая их, деформировать некоторые из них. И все же нет сомнений в том, что наш разум требует такой унификации, что нужно было попытаться ее осуществить и что никто после Равессона уже не решился на это.

Второй том "Опыта" свидетельствует о еще большей отваге. Здесь Равессон, сопоставляя учение Аристотеля с греческой мыслью в целом, стремится выявить саму душу аристотелизма.

Греческая философия, говорит он, вначале объясняла все вещи через материальную стихию – воду, воздух, огонь – или через некое неопределенное вещество. Опираясь на ощущения, как поступает сначала человеческий интеллект, она не знала иной интуиции, нежели чувственная, иного аспекта вещей, нежели их материальность. Тогда явились пифагорейцы и платоники, которые показали недостаточность объяснений единственно через материю и взяли в качестве первоначал Числа и Идеи. Но прогресс здесь был скорее внешним, чем реальным. Пифагорейские числа, платоновские идеи заключают нас в сферу абстракции, и сколь бы научными ни были манипуляции, которым подвергаются эти элементы, мы так и остаемся в данной сфере. Интеллект, восхищенный тем, насколько упрощает он изучение вещей, группируя их и подводя под общие идеи, вероятно, воображает, что он проникает с их помощью к самой субстанции вещей. Чем дальше он продвигается в ряду обобщений, тем сильнее становится его вера в то, что он восходит к более высоким уровням реальности. Но то, что интеллект принимает за более возвышенную духовность, есть на самом деле только возрастающее разрежение воздуха, который он вдыхает. Он не замечает, что чем более общей является идея, тем более она абстрактна и пуста, и что, переходя от абстракции к абстракции, от обобщения к обобщению, он продвигается к чистому ничто. Уж лучше было бы ограничиться данными чувств, которые, конечно, свидетельствуют только о части действительности, но по крайней мере оставляют нас на прочной почве реального. Следовало бы принять совершенно иное решение. Нужно было бы, чтобы ви́дение, доступное нам благодаря зрению, нашло продолжение в духовном ви́дении. Тогда мы, не покидая области интуиции, т.е. реальных, индивидуальных, конкретных вещей, стали бы искать под интуицией чувственной интуицию интеллектуальную. Мощным усилием мысленного ви́дения мы прорвали бы материальную оболочку вещей и принялись бы читать невидимую глазу формулу, которую выявляет и демонстрирует их материальность. Тогда стало бы очевидным единство, связывающее друг с другом сущности, единство мышления, которое – от грубой материи к

растению, от растения к животному, от животного к человеку – сосредоточивается в своей собственной субстанции; и так, путем все большей концентрации мы пришли бы к божественному мышлению, которое мыслит все вещи, мысля самого себя. Таким было учение Аристотеля. Такова интеллектуальная дисциплина, правила и пример которой он продемонстрировал нам. В этом смысле Аристотель является творцом метафизики и инициатором определенного метода, – метода, представляющего собой саму философию.

Великая и важная идея! Вероятно, можно было бы оспорить с исторической точки зрения ту трактовку, которую дает ей Равессон. Быть может, порой он смотрит на Аристотеля сквозь призму александрийской философии[5], впрочем, столь сильно окрашенной аристотелизмом. Возможно, он проводит чересчур далеко то зачастую незначительное и поверхностное, чтобы не сказать вербальное, различие, которое отделяет Аристотеля от Платона, и даже превращает его в коренную противоположность. Но если бы Равессон полностью соответствовал в этих вопросах требованиям историков философии, мы бы, возможно, утратили то, что является самым оригинальным и глубоким в его учении. Ибо эта устанавливаемая Равессоном противоположность между Платоном и Аристотелем отображает разграничение, постоянно проводившееся им, – разграничение между философским методом, который он считал истинным, и методом, являющимся, на его взгляд, только его подделкой. Именно та идея, в которой он усматривал основание аристотелизма, стала истоком большинства его исследований. Лейтмотивом всего его творчества стало утверждение о том, что философ должен не растворять свою мысль в чем-то общем, а сосредоточивать ее на индивидуальном.

Возьмем, к примеру, оттенки цветов радуги – фиолетового и голубого, зеленого, желтого и красного. Мы, думается, верно передадим главную мысль Равессона, сказав, что существуют два способа определения общего между ними и, следовательно, философствования о них. Первый состоит просто в том, чтобы назвать все их цветами. Абстрактная и общая идея цвета становится в таком случае единством, к которому сводится разнообразие оттенков. Но эту общую идею цвета мы получаем, удаляя из красного то, что делает его красным, из голубого – то, что придает ему голубизну, из зеленого – то, что делает его зеленым. Мы можем определить цвет, только сказав, что он не является ни красным, ни голубым, ни зеленым; это – утверждение, созданное из отрицаний, форма, ограничивающая пустоту. Тем и довольствуется философ, который остается в сфере абстрактного. Он полагает, что путем возрастающей генерализации придет к унификации вещей; но на деле он постепенно ослабляет свет, который подчеркивал различия оттенков, и в конце концов смешает их все вместе в единой тьме. Метод подлинной унификации представляет собой нечто совершенно иное. В данном случае он

состоял бы в том, чтобы взять тысячи оттенков голубого, фиолетового, зеленого, желтого, красного и при помощи линзы свести их в одну точку. Тогда проявился бы во всем своем блеске чистый белый свет; прежде мы воспринимали его в оттенках, которые его расщепляют, но здесь, в своем нераздельном единстве, он содержит бесконечное многообразие разноцветных лучей. В каждом отдельном оттенке тогда открылось бы то, что вначале было незаметно для глаза, – белый свет, которому оттенок причастен, общее освещение, откуда он извлекает свой собственный тон. Таким, вероятно, представлялось Равессону то ви́дение, которого мы должны требовать от метафизики. Из созерцания античного мрамора, подлинный философ может вынести больше истины – причем в концентрированном виде, – чем он найдет, собирая ее по крупицам, в целом трактате по философии. Цель метафизики состоит в том, чтобы уловить в индивидуальных существованиях тот особый луч, который, сообщая каждому из них свой собственный оттенок, тем самым связывает их с универсальным светом, и подняться к источнику, откуда исходит этот луч.

Как, когда, под чьим влиянием сформировалась у Равессона философия, первые наброски которой мы встречаем здесь? Мы не нашли ее следов в мемуаре, удостоенном награды вашей Академии, рукопись которого хранится в здешних архивах. Между этой рукописью и опубликованным трудом существует, впрочем, такое расхождение, столь поразительное отличие по сути и по форме, что их с трудом можно приписать одному и тому же автору. В рукописи просто анализируется – книга за книгой – "Метафизика" Аристотеля, нет речи о какой-либо реконструкции самой системы. В опубликованном труде прежний анализ, к тому же переработанный, похоже, сохранен лишь для того, чтобы он послужил фундаментом восстановленного здания аристотелевской философии. В рукописи Аристотель и Платон находятся примерно на одном уровне. Автор полагает, что нужно выделить ту часть, которая принадлежит Платону, и ту, что принадлежит Аристотелю, а затем сплавить их в философию, которая превзойдет обоих. В опубликованном труде Аристотель очевидным образом противопоставлен Платону, и его учение подается как источник, из которого должна питаться всякая философия. Наконец, форма рукописи правильна, но безлична, тогда как книга говорит с нами на оригинальном языке, представляющем собой смесь выразительных образов и четко очерченных абстракций, – на языке философа, обладавшего способностями и художника, и скульптора. Разумеется, мемуар 1835 г. заслуживал похвалы, которой г-н Кузен удостоил его в своем докладе, и награды, присужденной ему Академией. Никто не станет оспаривать, что эта работа выполнена очень хорошо. Но и только. Автор остался чуждым своему труду. Он внимательно изучал, анализировал и комментировал Аристотеля; но не вдохнул в его учение жизнь, вероятно потому,

что у него самого еще не было достаточно интенсивной внутренней жизни. Равессон действительно осознал, кто он есть, и, скажем так, открыл самого себя в период в 1835 по 1837 г., в эти два года, разделяющих написание мемуара и первого тома "Опыта", а главным образом – в 1837–1846 гг., во время, прошедшее между публикацией первого и второго тома "Опыта"

Вероятно, многочисленные внешние воздействия способствовали развитию таившихся в Равессоне сил и пробуждению его личности. Не надо забывать, что 1830–1848 гг. были у нас периодом напряженной интеллектуальной жизни. В Сорбонне еще звучали речи Гизо, Кузена, Вильмена[6], Жоффруа Сент-Илера[7]; Кине[8] и Мишле преподавали в Коллеж де Франс. Равессон был знаком с большинством из них, в особенности с последним, у которого он какое-то время служил секретарем. В неизданном письме Мишле Жюлю Кишера[9] есть такая фраза: "Во Франции мне известны только четыре критических ума (мало кто полностью осознает смысл этого слова): Летрон[10], Бюрнуф[11], Равессон и вы"*. Итак, Равессон поддерживал контакт со знаменитыми мэтрами в тот момент, когда высшее образование предстало во всем своем блеске. Нужно добавить, что именно в эту эпоху шел процесс сближения между политическими деятелями, художниками, писателями, учеными, наконец, всеми теми, кто мог бы создать в обществе с отчетливой демократической направленностью аристократию интеллекта. Несколько избранных салонов служили местом собраний этой элиты. Равессон любил свет. Он был очень молод, еще малоизвестен, но благодаря его родству с бывшим министром Мольеном[12] перед ним открылись многие двери. Мы знаем, что он посещал принцессу Бельджоёзо[13], где, вероятно, встречал Минье[14], Тьера и в особенности Альфреда де Мюссе; бывал у мадам Рекамье[15] – она, несмотря на возраст, все еще не утратила былого очарования и объединяла вокруг себя таких людей, как Вильмен, Ампер, Бальзак, Ламартин: вероятно, именно в салоне мадам Рекамье Равессон познакомился с Шатобрианом. Частые контакты со многими выдающимися людьми, очевидно, давали богатую пищу его интеллекту.

Следует упомянуть здесь и о пребывании Равессона в Германии, в Мюнхене, где он провел несколько недель, общаясь с Шеллингом. В работах Равессона встречаются страницы, которые можно было бы сравнить – по направленности мысли, как и по стилю, – с лучшим из того, что было написано немецким философом. Правда, не стоило бы преувеличивать влияние Шеллинга. Возможно, здесь мы видим не столько влияние, сколько естественное сродство, общность истоков и, если можно так сказать, предустановленное согласие между двумя умами, которые парили высоко и встречались на тех или иных вершинах. Впрочем вести беседы этим философам было

* Цитируется у Луи Леже.

довольно сложно – ведь один из них плохо знал французский, а другой немногим лучше изъяснялся по-немецки.

Путешествия, беседы, светские контакты – все это, вероятно, пробудило любознательность Равессона и заставило его разум полнее проявиться вовне. Но причины, вынудившие его сосредоточиться на себе самом, были более глубокими.

Важнейшую роль сыграли длительные занятия философией Аристотеля. Уже та работа Равессона, что была отмечена наградой, свидетельствовала о тщательном и вдумчивом исследовании текстов. Но в опубликованном труде мы находим нечто большее, чем знание текстов и даже понимание учения: это слияние с учением и сердцем, и умом, то состояние, когда душа полностью пропитана им. Порой люди, наделенные выдающимися способностями, лучше раскрывают сами себя по мере того как проникают все дальше во внутренний мир своего учителя. Подобно тому как разбросанные железные опилки стягиваются под воздействием намагниченного прута к полюсам и располагаются вдоль правильных кривых, так по призыву гения, которого любит душа, дремавшие в ней силы пробуждаются, объединяются, приходят в согласие, чтобы действовать сообща. Ведь личность формируется именно благодаря этой концентрации всех сил духа и сердца в одной точке.

Но наряду с Аристотелем был и иной источник влияния, постоянно действовавший на Равессона и сопровождавший его всю жизнь, как собственный его демон.

С самого детства Равессон проявлял склонность к искусству в целом, а в особенности к живописи. Его мать, талантливая художница, вероятно, мечтала сделать из него живописца и отдала его на выучку художнику Броку, а возможно и рисовальщику Шассерио, который посещал их дом. Оба они были учениками Давида. Если Равессон и не услышал голоса этого великого мэтра, он мог, по крайней мере, уловить его эхо. Не просто для забавы он научился рисовать. Он неоднократно выставлял в Салоне под именем Лаше портреты, которые не остались незамеченными. Он занимался главным образом рисунком, и полотна его отличались чрезвычайным изяществом. Энгр говорил ему: "В ваших работах что-то есть" Когда же проявились предпочтения Равессона к итальянской живописи? Вероятно, довольно рано, так как уже в 16 или 17 лет он делал копии с работ Тициана. Но несомненно, что в период между 1835 и 1845 гг. он начал углубленно изучать искусство итальянского Возрождения. И именно в это время зародилось его пристрастие к художнику, всегда бывшему в его глазах самóй персонификацией искусства, Леонардо да Винчи, чье влияние он испытывал всю жизнь.

В "Трактате о живописи" Леонардо да Винчи есть страница, которую Равессон любил цитировать. Здесь речь идет о том, что живое существо характеризуется волнистой или извилистой линией, что у каждого существа своя манера изгибаться и что цель искусства

состоит в том, чтобы передать этот индивидуальный изгиб. "Секрет искусства рисования заключается в выявлении того, каким образом в каждом объекте, на всем его протяжении, подобно идущей по центру волне, развертывающейся в волнах боковых, движется некая изогнутая линия, которая представляет собой как бы его образующую ось"[16]. Впрочем эта линия не обязательно является видимой. Она – и не здесь и не там, но именно она дает ключ ко всему. Ее труднее воспринять глазом, чем постичь умом. "Живопись, – говорил Леонардо да Винчи, – есть нечто мыслимое", и прибавлял, что именно душа облекает образ плотью. Все творчество этого великого художника может служить комментарием к его словам. Остановимся перед портретами Моны Лизы или Лукреции Кривелли: не кажется ли нам, что видимые линии фигуры восходят к воображаемому центру, находящемуся за полотном, где может внезапно открыться – в одном слове – тайна, которую мы без конца читали бы фраза за фразой в загадочном лице? Именно там и расположился художник. Развивая простое духовное ви́дение, сконцентрированное в этой точке, он заново открыл, черту за чертой, модель, которую имел перед глазами, воспроизводя на свой манер порождающее усилие природы.

Стало быть, искусство живописи заключается для Леонардо да Винчи не в том, чтобы перенести на полотно каждую черту модели в мельчайших деталях и постепенно воспроизвести ее в ее вещественности. Не заключается оно и в изображении какого-то безличного и абстрактного типа, где модель, которую мы видим, которой можем коснуться, растворится в неопределенной идеальности. Подлинное искусство нацелено на то, чтобы выразить индивидуальность модели, и ради этого оно отыскивает за видимыми линиями незримое движение, а за ним – нечто еще более потаенное: начальное намерение, глубинное стремление личности, простую мысль, которая равнозначна бесконечному богатству форм и оттенков.

Разве не поражает сходство между этой эстетикой Леонардо да Винчи и метафизикой Аристотеля, как ее толкует Равессон? Когда Равессон противопоставляет Аристотеля физикам, интересующимся только материальным устройством вещей, и платоникам, сводящим всю реальность к общим типам, когда он показывает нам Аристотеля как философа, который стремился найти с помощью духовной интуиции в глубине индивидуальных существ одушевляющую их характерную мысль, не превращает ли он аристотелизм в философию искусства, каким его постиг и практиковал Леонардо да Винчи, – искусства, которое не подчеркивает материальные контуры модели и не затушевывает их в угоду абстрактному идеалу, но просто обводит ими скрытую мысль и созидающую душу? Вся философия Равессона проистекает из той идеи, что искусство есть метафизика в образах, что метафизика есть рефлексия над искусством и что одна и та же интуиция, по-разному применяемая, создает и глу-

бокого философа, и великого художника. Равессон овладел самим собой, стал хозяином своей мысли и своего пера в тот день, когда это тождество со всей ясностью открылось его уму. Он постиг это тождество в тот момент, когда в его душе слились два различных устремления, ведших его к философии и к искусству. А такое слияние произошло, когда он заметил, как тесно сопряжены друг с другом и одушевляются общей жизнью два гения, выражавшие в его глазах все самое глубокое в философии и наиболее возвышенное в искусстве, – Аристотель и Леонардо да Винчи.

В докторской диссертации, которую Равессон защитил к этому времени (1838), он впервые применил свой метод. Диссертация носит неброское название: "О привычке" Но автор фактически излагает здесь всю свою философию природы. Что такое природа? Как постичь ее сущность? Что таит она под последовательным чередованием причин и следствий? Скрывает ли она нечто такое, что не сводится в конечном счете к тому, что видно на поверхности, – к развертыванию движений, которые механически сцепляются друг с другом? В согласии со своим принципом, Равессон хочет решить эту общую проблему с помощью весьма конкретной интуиции – той интуиции нашего собственного способа существования, которую мы обретаем, когда усваиваем какую-либо привычку. Ибо двигательная привычка, однажды приобретенная, представляет собой некий автоматизм, последовательность обусловливающих друг друга движений; она есть та часть нас самих, которая включена в природу и совпадает с ней: она есть сама природа. Но благодаря своему внутреннему опыту мы видим в привычке некую активность, которая постепенно, еле заметно переходит от сознания к бессознательному и от воли к автоматизму. Не в такой ли форме – как угасшее сознание и заснувшую волю – должны мы представлять себе природу? Таким образом, привычка дает нам наглядное доказательство той истины, что автоматизм не самодостаточен: он является, скажем так, только окаменевшим осадком духовной активности.

Эти идеи, как и многие иные из тех, которыми мы обязаны Равессону, стали классическими. Они столь глубоко проникли в нашу философию, все наше поколение настолько пропитано ими, что сегодня мы не без труда можем воссоздать их генезис. Современников же они поразили. Диссертация "О привычке", как, впрочем, и "Опыт о метафизике Аристотеля", получили полнозвучный отклик в философском мире. Автор ее, совсем еще молодой, стал признанным мэтром. Казалось бы, будущее Равессона было ясно: деятельность на поприще высшего образования – в Сорбонне или в Коллеж де Франс, где он хотел стать (и едва не стал) преемником Жуффруа[17]. Тем самым был бы всецело предначертан его дальнейший жизненный путь. Он развил бы – со всей ясностью и определенностью – пока еще несколько зыбкие принципы своей философии. Необходимость изложить свою концепцию устно, опробовать ее на

различных проблемах, применить ее в решении конкретных вопросов, поставленных жизнью и наукой, побудила бы его спускаться иногда с тех вершин, где он предпочитал находиться. Вокруг него сплотилась бы элита нашей молодежи, всегда готовая с энтузиазмом откликнуться на благородные идеи, выраженные прекрасным языком. Вскоре, вероятно, и ваша Академия открыла бы ему свои двери. Так была бы создана школа, чья преемственная связь с аристотелизмом не помешала бы ей быть вполне современной, а симпатии к искусству не отдалили бы ее от позитивной науки. Но судьба распорядилась иначе. Лишь 40 лет спустя Равессон стал членом Академии юридических наук, и ему не довелось возглавить кафедру философии.

Это было время, когда г-н Кузен, занимавший высокую должность в Королевском совете, пользовался неоспоримым авторитетом в сфере преподавания философии. Разумеется, именно он раньше всех одобрил первые шаги Равессона. Наметанным глазом он увидел, сколь многообещающим был мемуар, представленный Равессоном в Академию. Преисполненный уважения к молодому философу, Кузен часто приглашал его на свои философские беседы, которые начинались с длительных прогулок в Люксембургском саду, а завершались вечером за ужином в каком-нибудь ресторане по соседству, – приятный эклектизм, где продолжением перипатетической дискуссии служил платоновский пир. Впрочем, если посмотреть со стороны, все, казалось, должно было сблизить Равессона и Кузена. Разве обоим философам не были свойственны та же любовь к античной философии, та же антипатия к сенсуализму XVIII в., то же уважение к традиции великих мыслителей, разве не стремились они обновить эту традиционную философию, не доверяли внутреннему наблюдению, разве не были близки их взгляды на родство истины и красоты, философии и искусства? Да, безусловно; но это согласие двух умов определялось не столько сходством мнений, сколько известным сходством интеллектуального темперамента.

У Кузена мысль вся целиком была устремлена к слову, а слово к действию. Он испытывал потребность руководить, побеждать, организовывать. О своей философии он охотно говорил: "Мое знамя", о профессорах философии: "Мой полк"; и он шел во главе, не упуская случая подать при необходимости звучный сигнал трубой. Впрочем, он был движим не тщеславием, не амбициями, но искренней любовью к философии. Вот только любил он ее на свой манер, как человек действия. Кузен полагал, что настал момент, когда философия должна во всеуслышание заявить о себе. Он хотел, чтобы она была сильной, захватывала ребенка еще в коллеже, вела человека по жизни, помогала ему во всех моральных, социальных, политических коллизиях, обеспечивая правила поведения, отмеченные исключительно печатью разума. Он положил начало реализации этой мечты, прочно утвердив в нашем университете упорядоченную фи-

лософию: умелый организатор, дальновидный политик, несравненный собеседник, замечательный преподаватель; для того чтобы в полной мере соответствовать званию философа, ему не хватало, быть может, только умения оставаться иногда наедине со своей собственной мыслью.

Равессон же дорожил чистыми идеями. Он жил для них, вместе с ними, в невидимом храме, где окружал их безмолвным обожанием. Чувствовалось, что он оторван от всего остального и словно отрешен от окружающей жизни. Вся его личность была пропитана той исключительной деликатностью, которая свидетельствует о крайней обособленности. Умеренный в жестах, скупой на слова, всегда мягко, без нажима выражавший свои идеи, говоривший тихо, словно из опасения, как бы чрезмерный шум не спугнул мысли, витающие вокруг него, он, очевидно, полагал, что для того чтобы тебя услышали далеко, нет нужды напрягать голос, если звуки его чисты. Менее чем кто-либо он стремился воздействовать на других людей. Но никогда чей-либо дух не противился столь естественно, спокойно, непоколебимо авторитету другого. Равессона невозможно было подчинить себе. Он уклонялся от этого благодаря своей нематериальности. Он принадлежал к числу тех, кто, не оказывая никакого сопротивления, тем самым не дает никому повода рассчитывать на возможность каких-либо уступок. Хотя г-н Кузен и сделал несколько попыток такого рода, он очень скоро заметил, что напрасно тратит время и силы.

А потому два этих человека после периода общения, выявившего их несовместимость, естественным образом отдалились друг от друга. Спустя 40 лет Кузен, уже в преклонном возрасте и серьезно больной, перед отъездом в Канн, где он впоследствии и умер, выразил волю к примирению: на Лионском вокзале, у поезда, готового к отправлению, он пожал Равессону руку; они взволнованно обменялись несколькими фразами. И все же именно отношение Кузена помешало Равессону стать, если можно так выразиться, профессиональным философом и вынудило его избрать другое поприще.

Г-н де Сальванди, в ту пору министр государственного образования, лично знакомый с Равессоном, назначил его руководителем своего кабинета (чисто формально, поскольку Равессон так никогда и не занял этот пост), а вскоре поручил ему читать курс лекций в Реннском университете. Наконец, в 1839 г. Сальванди доверил Равессону введенную незадолго до того должность инспектора библиотек. Таким образом Равессон вступил на путь, весьма отличный от того, о котором он мечтал. Он оставался инспектором библиотек до того дня, когда занял должность генерального инспектора высшего образования, т.е. в течение 15 лет. Он неоднократно публиковал важные работы, связанные с доверенной ему службой: в 1841 г. – "Доклад о библиотеках западных департаментов"; в 1846 г. – "Каталог рукописей, хранящихся в Ланской библиотеке"; в 1862 г. –

"Доклад об архивах Империи и об организации Имперской библиотеки" Научные изыскания всегда привлекали его, а с другой стороны, глубокое знание античности, продемонстрированное им в "Опыте о метафизике Аристотеля", вполне естественно привело его в Академию надписей. В 1849 г. он был избран членом этой Академии, заняв место, ставшее вакантным после кончины Летронна.

Нельзя не испытать сожаления при мысли о том, что философ, написавший в столь юном возрасте и за такой короткий срок два превосходных труда, в последующие двадцать лет не дал ничего важного философии: прекрасный мемуар о стоицизме, прочитанный в Академии надписей в 1849 и 1851 гг. (опубликован в 1857 г.), вероятно, был составлен по материалам, собранным для "Опыта о метафизике Аристотеля" Утратил ли Равессон за это долгое время вкус к философствованию? Разумеется, нет; но он был из тех, кто решается писать только тогда, когда его побуждают к этому какие-либо внешние воздействия или же профессиональные занятия. Свой "Опыт" Равессон написал для академического конкурса, диссертацию "О привычке" – для экзамена на докторскую степень. В новых его занятиях ничто не служило ему импульсом для творчества. И, быть может, он никогда не сформулировал бы те выводы, к которым пришел за двадцать лет размышлений, если бы его официально не пригласили это сделать.

Имперское правительство решило, что по случаю Выставки 1867 г. следует издать ряд докладов о развитии наук, литературы и искусства во Франции в XIX в. Министром государственного образования был в ту пору г-н Дюрюи[18]. Он хорошо знал Равессона еще по коллежу Роллена, где они когда-то вместе учились. В 1863 г., когда был вновь введен экзамен на степень агреже, он поручил Равессону председательствовать в жюри. Кому же он должен был адресовать просьбу написать доклад о прогрессе философии? Не один выдающийся философ, занимавший кафедру в университете, мог бы претендовать на эту честь, но г-н Дюрюи предпочел обратиться к Равессону, философу "вне штата" И никогда еще у этого министра, которого во время чересчур краткого пребывания на его посту посещали многие хорошие мысли, не было идеи более удачной.

Равессон мог бы ограничиться обзором работ наиболее именитых философов XIX в. Вероятно, большего от него и не требовалось. Но он понял свою задачу по-иному. Не делая уступок общему мнению, которое считает достойными внимания нескольких мыслителей, а прочих игнорирует, он прочел всё, как человек, знающий, на что способна подлинная рефлексия и каким образом при помощи одного этого инструмента самые непритязательные старатели могут извлечь из беднейшей руды несколько крупинок золота. Прочитав всё, он затем устремился вверх, чтобы возвыситься надо всем. Он хотел разглядеть – сквозь колебания и повороты мысли, не всегда полностью осознающей, чего она хочет и что она сделала, –

точку, расположенную, быть может, далеко в будущем, к которой движется наша философия.

Вернувшись к главной идее своего "Опыта" и развив ее, Равессон выделил два способа философствования. Первый берет на вооружение анализ; он раскладывает вещи на их инертные элементы и приходит, путем постоянных упрощений, к чему-то наиболее абстрактному и пустому. Неважно, впрочем, действует ли так физик, которого называют механицистом, или логик, объявляющий себя идеалистом: в обоих случаях речь идет о материализме. Другой метод принимает в расчет не только элементы, но и их последовательность, их внутреннюю согласованность и общую направленность. Он уже не объясняет живое через мертвое, но, видя повсюду жизнь, определяет простейшие формы через их стремление к высшей форме. Такой метод уже не сводит высшее к низшему; наоборот, он сводит низшее к высшему. Это и есть спиритуализм в точном смысле слова.

Так вот, согласно Равессону, если рассмотреть французскую философию XIX в. не только в сфере метафизики, но и в сфере науки – когда ученые превращают саму свою дисциплину в философию, – то можно обнаружить следующее. Довольно часто разум движется вначале в направлении материализма, предполагая даже там и остаться. Совершенно естественно он ищет механического или геометрического объяснения того, что видит. Но привычка ограничиваться этим есть не что иное, как пережиток прошлых столетий. Она восходит к той эпохе, когда наука почти всецело сводилась к геометрии. Характерная черта науки XIX в., то новое дело, которым она занялась, – это углубленное изучение живых существ. Но, оказавшись в данной сфере, можно, если угодно, еще говорить о чистой механике; однако при этом имеется в виду нечто совершенно иное.

Откроем первый том "Курса позитивной философии" Огюста Конта. Мы читаем там, что феномены, наблюдаемые в сфере живого, по сути своей те же, что явления неорганической природы. Восемь лет спустя, во втором томе, Конт еще скажет нечто подобное о растениях, но только лишь о них; он уже выделяет здесь животную жизнь. Наконец, в последнем томе он со всей очевидностью отделяет в целом феномены жизни от физических и химических явлений. Чем глубже он исследует проявления жизни, тем больше стремится установить между различными сферами феноменов разграничение по рангу или по ценности, а не только по сложности. Но этот путь в конечном счете ведет к спиритуализму.

Клод Бернар[19] вначале склонялся к мысли, что игра механических сил обеспечивает нам все элементы универсального объяснения. Но когда, покинув область обобщений, он занялся более конкретным описанием феноменов жизни, которые получили столь замечательное объяснение в его работах, то пришел к гипотезе о "направляющей" и даже "творческой" идее, являющейся подлинной причиной организации.

Та же тенденция, то же развитие наблюдается, согласно Равессону, у всех философов и ученых, углубленно исследующих природу жизни. Можно предвидеть, что по мере прогресса наук о жизни все яснее будет осознаваться необходимость вновь включить мышление в природу.

В каком же виде и каким образом это можно осуществить? Если жизнь есть творчество, мы должны представлять ее себе по аналогии с теми формами творчества, какие нам дано наблюдать, т.е. с теми, какие осуществляем мы сами. Но создается впечатление, что, к примеру, материал в художественном творчестве: слово и образ у поэта, форма и цвет у художника, ритм и гармония у музыканта – спонтанно подстраиваются под идею, которую они должны выразить, словно бы привлеченные очарованием высшей идеальности. Разве не подобное же движение, не такое же состояние очарованности должны мы предположить у материальных элементов, когда они организуются в живые существа? С точки зрения Равессона, порождающая сила жизни имеет ту же природу, что и сила убеждения.

Но откуда берутся сами материалы, которые подверглись такому воздействию? Отвечая на этот вопрос, важнейший из всех, Равессон показывает нам в начальном процессе создания материи движение, обратное тому, которое осуществляется, когда материя организуется. Если организация есть нечто вроде пробуждения материи, то материя может быть только засыпанием духа. Это низшая ступень, сумерки существования, которое ослабляется и, скажем так, утрачивает свое содержание. Если материя есть "основа природного существования, опираясь на которую все постепенно и во всех областях возвращается – в ходе непрерывного развития, свойственного природе, – к единству духа", то исходно мы, напротив, должны полагать *растяжение* духа, рассеяние в пространстве и во времени, конституирующее материальность. Бесконечное мышление "частично уменьшило полноту своего бытия, чтобы извлечь из него, посредством своего рода пробуждения и воскрешения, все то, что существует"

Таково учение, изложенное в последней части "Доклада" Зримый универсум предстает здесь как внешний аспект реальности, которая, будучи постигнута изнутри, в ней самой, есть дар, великий акт освобождения и любви. Никакой анализ не смог бы передать идею, изложенную на этих прекрасных страницах. Двадцать поколений учащихся знают их наизусть. Именно эта часть "Доклада" во многом содействовала тому влиянию, которое он оказал на нашу университетскую философию; невозможно определить границы этого влияния, измерить его глубину, с точностью выразить его природу, как нельзя описать ту совершенно особую окраску, какую придает порой всей жизни человека возвышенный энтузиазм его ранней молодости. Мы позволим себе добавить, что эти страницы несколько затмили своим ослепительным блеском наиболее оригинальную идею книги. Углубленное изучение феноменов жизни должно побудить

позитивную науку расширить свои рамки и преодолеть чистый механицизм, в котором она замыкается вот уже три столетия, – такова возможность, которую мы начинаем предвидеть сегодня, хотя многие еще отказываются ее признавать. Но во времена, когда Равессон писал свой "Доклад", требовалось подлинно пророческое усилие, чтобы усмотреть такой смысл в движении идей, которое, казалось, шло в противоположном направлении.

Каковы же факты, каковы причины, натолкнувшие Равессона на мысль, что феномены жизни не только не могут в целом найти объяснение в физических и химических силах, но, напротив, могли бы отчасти прояснить последние? Все элементы его теории обнаруживаются уже в "Опыте о метафизике Аристотеля" и в диссертации "О привычке". Но в той более определенной форме, какую эта теория приобрела в "Докладе", она соотносится, как мы полагаем, со вполне конкретными вещами – с размышлениями Равессона в этот период об искусстве, теоретиком и практиком которого он был, – об искусстве рисования.

В 1852 г. Министерство образования выдвинуло на рассмотрение вопрос об обучении рисованию в лицеях. 21 июня 1853 г. специальным решением была создана комиссия, которой поручалось представить министру проект организации такого обучения. В комиссию входили Делакруа, Энгр и Фландрен[20]; председателем ее стал Равессон. Именно он и подготовил доклад. Его взгляды получили поддержку, и он разработал положение, которое постановлением от 29 декабря 1853 г. было введено в действие в государственных учреждениях. Это была радикальная реформа метода, применявшегося до тех пор в обучении рисованию. Теоретические соображения, вдохновившие реформу, составляют лишь небольшую часть доклада, адресованного министру. Но позже Равессон вернулся к ним и представил их в расширенном виде в двух статьях: "Искусство" и "Рисование", – подготовленных для "Педагогического словаря". Эти статьи, написанные в 1882 г., когда философия Равессона переживала расцвет, представляют нам его идеи по поводу рисования в метафизической форме, которой они не имели вначале (в этом можно легко убедиться, читая доклад 1853 г.). Статьи со всей определенностью выявляют скрытую метафизику, присущую взглядам Равессона с самого начала. Они показывают нам, каким образом изложенные выше философские идеи соединялись в мышлении Равессона с искусством, всегда входившим в сферу его постоянных занятий. Кроме того, они подтверждают тот, на наш взгляд всеобщий закон, что подлинно жизнеспособными идеями в философии являются те, которые были вначале пережиты их автором, – т.е. постоянно применялись им в работе, которую он любил, и в течение длительного времени согласовывались им с этой конкретной практикой.

Метод, практиковавшийся в ту пору в обучении рисованию, базировался на идеях Песталоцци. В искусстве рисования, как и во всех

иных областях, полагали тогда, следует идти от простого к сложному. Стало быть, ученик должен упражняться вначале в вычерчивании прямых линий, затем треугольников, прямоугольников, квадратов; от них он перейдет к кругу. Позже он начнет чертить контуры живых форм, причем по возможности должен будет строить рисунок на основе прямых линий и геометрических кривых, вписывая свою модель (предположительно плоскую) в воображаемую прямоугольную фигуру, которая обеспечит ему опорные точки, или же временно замещая кривые линии модели геометрическими кривыми, в которые он затем внесет необходимые исправления.

Этот метод, по мнению Равессона, совершенно безрезультатен. Действительно, либо мы хотим обучить рисованию геометрических фигур, и тогда важно умение применять соответствующие инструменты и использовать правила, которые дает геометрия; либо мы хотим научить именно искусству, но в таком случае опыт показывает, что применение механических приемов к имитации живых форм приводит к тому, что их плохо понимают и неумело воспроизводят. На деле здесь прежде всего важно иметь "наметанный глаз" Ученик, который вначале обеспечивает себе опорные точки, затем связывает их непрерывной линией, стремясь максимально приблизить ее к геометрической кривой, научится только ложному видению. Он никогда не сможет уловить собственное движение формы, которую нужно изобразить. Он никогда не постигнет сам "дух формы" Совсем иным бывает результат, если мы начинаем с кривых, характерных для самой жизни. Наиболее простым здесь будет не то, что ближе всего к геометрии, а то, что больше всего скажет нашему уму, будет наиболее выразительным: нам легче понять животное, чем растение, человека – чем животное, Аполлона Бельведерского – чем случайного прохожего на улице. Следовательно, вначале ребенок должен научиться рисовать наиболее совершенные из человеческих фигур – образцы, данные нам древнегреческой скульптурой. Если мы опасаемся, что у него возникнут сложности с перспективой, заменим сначала модели их фотографическим воспроизведением. Мы увидим, что все остальное придет само собой. Отправляясь от геометрии, можно двигаться сколь угодно далеко в сторону усложнения, никогда не приближаясь, однако, к тем кривым, через которые выражает себя жизнь. И наоборот, если мы начнем с этих кривых, то в тот день, когда займемся геометрическими кривыми, обнаружим, что они уже не представляют для нас никакой сложности.

Таков первый из тезисов, развитых Равессоном в "Докладе о философии во Франции": от механического нельзя перейти к живому путем прибавления; именно жизнь дает ключ к неорганическому миру. Эта метафизика предполагается, предчувствуется и даже ощущается уже в том конкретном усилии, с помощью которого рука стремится воспроизвести характерные движения фигур.

В свою очередь, исследование этих движений и отношения, связывающего их с фигурами, сообщает особый смысл второму тезису Равессона, его воззрениям на происхождение вещей и на тот акт "нисхождения" (condescendance), манифестацией которого является универсум.

Если мы рассмотрим с нашей точки зрения предметы, существующие в природе, то более всего нас поразит их красота. Эта красота к тому же яснее проявляется по мере того как природа поднимается от неорганического к организованному, от растения к животному, от животного к человеку. Итак, чем напряженнее работа природы, тем прекраснее созданное ею произведение. Это означает, что если бы красота открыла нам свою тайну, мы проникли бы в самую суть работы, которую выполняет природа. Но откроет ли она ее нам? Возможно – если мы, поняв, что сама она есть только следствие, поднимемся к причине. Красота относится к форме, а всякая форма имеет своим началом движение, которое ее очерчивает: форма есть всего лишь запечатленное движение. Но если мы зададимся вопросом, каковы те движения, которые описывают *прекрасные* формы, мы обнаружим, что это движения *грациозные*: красота, говорил Леонардо да Винчи, есть застывшая грация. Тогда возникает вопрос о том, в чем же состоит грация. Но эту проблему уже легче разрешить, ибо во всем грациозном мы видим, чувствуем, угадываем своего рода снисхождение и самопожертвование. Таким образом, для того, кто созерцает универсум глазами художника, именно грация прочитывается в красоте и красота проглядывает сквозь грацию. Любая вещь демонстрирует – в движении, запечатленном в ее форме, – бесконечное великодушие первоначала, которое отдает себя. И не случайно мы зовем одним именем очарование, присущее движению, и акт свободы, характерный для божественной доброты: эти два смысла слова grâce[21] составляют для Равессона единое целое.

Он остался верным своему методу, отыскивая высочайшие метафизические истины в конкретном ви́дении вещей, незаметно переходя от эстетики к метафизике и даже к теологии. В этом отношении нет ничего более поучительного, чем исследование о философии Паскаля, которое он опубликовал в 1887 г. в "Revue des Deux Mondes" Здесь очевидно стремление связать христианство с античной философией и искусством, разумеется, при учете всего нового, что принесло миру христианство. Таким устремлением был наполнен весь последний период жизни Равессона.

В эту пору Равессон мог бы испытать удовлетворение, видя, как распространяются его идеи, как его философия проникает в образование и все больше появляется свидетельств в пользу учения, превратившего духовную активность в саму основу реальности. "Доклад" 1867 г. привел к изменению ориентации в университетской философии: на смену влиянию Кузена пришло влияние Равессона.

Как писал Бутру[22] на прекрасных страницах, посвященных его памяти: "Г-н Равессон никогда не стремился к влиянию, но в конце концов приобрел его, что заставляет вспомнить то божественное пение из древней басни, под воздействием которого сами камни послушно сложились в стены и башни". Будучи председателем жюри конкурса на степень агреже, Равессон неизменно сохранял доброжелательную беспристрастность, озабоченный единственно тем, чтобы выявить талант и творческие способности повсюду, где они обнаруживались. В 1880 г. он был принят в вашу Академию, став преемником г-на Песса[23]. Одним из первых его выступлений здесь был важный доклад о скептицизме, поводом к чему послужил конкурс, на котором ваш будущий собрат г-н Брошар[24] столь блестяще завоевал награду. В 1899 г. Академия надписей отмечала 50-летие со дня ее основания. Равессон, по-прежнему молодой, всегда с приветливой улыбкой, кочевал из одной Академии в другую: здесь он читал мемуар по вопросам античной археологии, там – высказывал точку зрения на мораль или воспитание, председательствовал на торжествах по раздаче наград, где безыскусственным тоном выражал абстрактнейшие истины в наиболее приятной форме. В последние тридцать лет жизни Равессон постоянно развивал мысль, главными свидетельствами которой стали "Опыт о метафизике Аристотеля", диссертация "О привычке" и "Доклад" 1867 г. Но эти новые его усилия менее известны, поскольку не привели к какому-либо завершенному труду. Результаты этих размышлений, нашедшие отражение в его публикациях, могли бы, впрочем, несколько удивить – если не сбить с толку – даже тех его учеников, которые следовали за ним с наибольшим вниманием. Упомянем прежде всего ряд мемуаров и статей о Венере Милосской; многих удивляла та настойчивость, с какой Равессон возвращался к столь частной теме. Кроме того, это были работы об античных надгробиях; и наконец, размышления о нравственных или педагогических проблемах, поставленных в наши дни. Действительно, нелегко уловить связь между столь различными занятиями. И тем не менее гипотезы Равессона о шедеврах древнегреческой скульптуры, эссе о восстановлении Милосской группы, толкование надгробных барельефов, взгляды на мораль и образование – все это, составляя связный комплекс, соотносилось в мышлении Равессона с новым развитием его метафизического учения. Предварительный набросок этой философии последнего периода мы находим в статье "Метафизика и мораль", которая увидела свет в 1893 г., послужив введением к журналу с тем же названием. Окончательная же формулировка ее содержится в книге, которую Равессон писал перед смертью. Фрагменты данного труда, бережно собранные, были опубликованы под названием "Философское завещание" Конечно, они помогают нам представить, какой была бы эта книга. Но если мы хотим проследить развитие идей Равессона до этого последнего этапа, нам нужно переместиться в период, предше-

ствовавший 1870 г. и даже "Докладу" 1867 г., – в ту эпоху, когда он сосредоточил внимание на творениях античной скульптуры.

Равессона побудили к этому размышления об обучении рисованию. Если изучение рисования должно начинаться с подражания человеческой фигуре, а также с постижения красоты в самой совершенной ее форме, то модели следует искать в античной скульптуре, поскольку она вознесла человеческую фигуру на высший уровень совершенства. Впрочем, чтобы избавить ребенка от сложностей с перспективой, можно было, как мы говорили, заменить статуи их фотографиями. Таким образом, Равессон вначале создал коллекцию фотографий, а затем – и это очень важно – дал распоряжение изготовить слепки шедевров греческого искусства. Коллекция слепков, размещенная вначале вместе с коллекцией Кампана, стала отправным пунктом для собрания античных гипсовых статуй, которое г-н Шарль Равессон-Мольен поместил в Лувре. Вполне естественно, что Равессон начал в этот период рассматривать пластические искусства в новом аспекте. До тех пор он занимался главным образом современной живописью, а теперь сосредоточил внимание на античной скульптуре. И, верный идее о том, что дух искусства можно постичь, только освоив его технику на практике, он вооружился резцом, начал упражняться в лепке, достиг, приложив старания, подлинного мастерства. Вскоре ему представилась возможность извлечь из этого пользу для искусства, а затем – постепенно – и для философии.

Император Наполеон III, который неоднократно, и в частности во время учреждения музея Кампана, мог лично оценить достоинства Равессона, назначил его в июне 1870 г. хранителем древностей и современной скульптуры в Луврском музее. Несколько недель спустя разразилась война, враг стоял под стенами Парижа, городу грозил обстрел, и Равессон, выступив в Академии надписей с предложением призвать цивилизованный мир к протесту против насилия, угрожавшего сокровищам искусства, занялся переносом в подземные хранилища наиболее ценных произведений искусства древности, чтобы защитить их от возможного пожара. Перемещая Венеру Милосскую, он заметил, что два блока, из которых была сделана статуя, оказались плохо пригнанными друг к другу во время первой установки и что деревянные клинья между ними утратили первоначальное положение. Равессон сам заново определил соотносительное положение двух блоков и лично руководил их установкой на новом месте. Спустя несколько лет он проделал ту же работу, но еще более важную, с Никой Самофракийской. При первоначальном размещении этой статуи невозможно было приделать крылья – те самые крылья, которые теперь производят на зрителя столь сильное впечатление. Равессон сделал из гипса кусок, которого недоставало с правой стороны, а также всю левую часть груди: тем самым крылья обрели точку соприкосновения, и богиня предстала такой, какой

мы видим ее сегодня на лестнице в Лувре, – корпус без рук, без головы, где только развевающаяся драпировка и развернутые крылья зримо передают порыв, затрагивающий нашу душу.

Но по мере того как Равессон ближе знакомился с античной скульптурой, в его уме вырисовалась одна идея, которая имела отношение к древнегреческой скульптуре в целом, но обрела наиболее конкретный вид применительно к объекту, ставшему в силу обстоятельств предметом его особого интереса, – Венере Милосской.

Он пришел к мысли о том, что во времена Фидия ваялись скульптуры великих и благородных фигур, но этот тип впоследствии начал вырождаться, и связано это было с искажением и вульгаризацией, которым подверглась классическая концепция божества. "На заре своего существования Греция, поклоняясь Венере, видела в ней богиню, которую она звала Уранией... В ту пору Венера была властительницей миров... Это было Провидение, всемогущество и вместе с тем воплощенная благожелательность; обычным ее атрибутом служил голубь, означавший, что правила она при помощи любви и нежности... Эти прежние представления претерпели искажение. Афинский законодатель, потворствуя толпе, ввел, наряду с культом Венеры небесной, культ низшего порядка – культ Венеры земной. Возвышенная античная поэма постепенно превратилась в роман, тканью которого стали легкомысленные приключения"*

К такой античной поэме нас возвращает Венера Милосская. Творение Лисиппа или одного из его учеников, эта Венера представляет собой, по мнению Равессона, только вариант Венеры, созданной Фидием. Первоначально она не была обособлена, а составляла часть группы. Именно эту группу Равессон столь терпеливо и с большим трудом старался воссоздать. Видя, как он все лепит и лепит руки богини, некоторые посмеивались. Знали ли они, что Равессон хотел отвоевать у непокорной материи саму душу Греции и что философ оставался верен духу своего учения, пытаясь отыскать основные устремления языческой античности не в абстрактных и общих формулах философии, но в конкретной фигуре – той, что создал в лучшие времена Афин величайший из художников, стремившийся к наиболее возвышенному выражению красоты?

Не наша задача – оценивать с археологической точки зрения те заключения, к которым пришел Равессон. Достаточно будет сказать, что он расположил рядом с Венерой бога, быть может Марса, или героя, возможно Тезея. Следуя путем индукции, он в конце концов увидел в этой группе символ триумфа убеждения над грубой силой. Эту победу воспела в эпической форме греческая мифология. Почитание героев было, с точки зрения Равессона, лишь культом, который благодарная Греция посвятила тем, кто, будучи самым

---

* Мемуар, прочитанный на публичном открытом заседании пяти Академий 25 октября 1890 г.

сильным, хотел быть и лучшим и использовал свою силу только для того, чтобы помочь страдающему человечеству. Таким образом, религия древних – это дань уважения состраданию. Превыше всего, в начале всего она ставила великодушие, благородство и любовь в самом высоком смысле этих слов.

Вот так, окольным путем, древнегреческая скульптура подвела Равессона к основной идее его философии. Разве не сказал он в своем "Докладе", что универсум есть манифестация первоначала, которое отдает себя через посредство свободы, нисхождения и любви? Но эта идея, которую можно обнаружить уже у древних, будучи рассмотрена теперь сквозь призму античной скульптуры, обрисовалась в самой своей сути, обретая более простую и более общую форму. Равессон сделал лишь незавершенный эскиз этой новой формы. Но ее основные линии в достаточной мере очерчены в его "Философском завещании"

По его словам, на заре человеческого мышления появилась великая философия, которая пронесла себя сквозь все перипетии истории: героическая философия, философия благородных, сильных, великодушных. Прежде чем ее продумали лучшие умы, она была пережита в избранных сердцах. Во все времена она была философией поистине королевских душ, рожденных ради всего мира, а не для самих себя, сохранивших верность изначальному импульсу, настроенных в унисон с основной нотой универсума – нотой великодушия и любви. Вначале ее практиковали герои, которых почитала Греция. Позже ей обучали мыслители, которые – от Фалеса до Сократа, от Сократа до Платона и Аристотеля, от Аристотеля до Декарта и Лейбница – следовали друг за другом в одном важнейшем направлении. Все они, предчувствуя христианство или развивая его, мыслили и практиковали философию, которая вся целиком заключена в определенном состоянии души; его-то Декарт и назвал прекрасным именем "великодушие"

С такой новой точки зрения Равессон воспроизвел в "Философском завещании" основные тезисы своего "Доклада" Он обнаружил эти идеи у великих философов всех времен, подтвердил их на примерах, вдохнул в них новую жизнь, подчеркнув значение чувства в поиске истины и энтузиазма – в творении красоты. Он особо выделил роль искусства, наиболее возвышенного из всех, – самого искусства жизни, которое формирует душу; обобщение его он усмотрел в совете св. Августина: "Любите, и делайте то, чего вы хотите". И Равессон добавил, что любовь в таком ее понимании живет в сердце каждого из нас; она естественна, мы не должны ее создавать, и она полностью расцветает, когда мы преодолеваем препятствие, которое ставится ей нашей волей: самолюбование.

Равессон хотел бы, чтобы вся наша система образования была нацелена на свободное развитие чувства великодушия. "Зло, от которого мы страдаем, – писал он уже в 1887 г., – коренится не столько

в неравенстве условий, порой действительно чрезмерном, сколько в сопутствующих ему пагубных чувствах..." "Лекарство от этого зла следует искать главным образом в моральной реформе, которая установит между классами взаимную гармонию и симпатию, реформе, являющейся по преимуществу делом образования..." Равессон не придавал особого значения книжному знанию. В нескольких словах он обрисовал программу подлинно либерального образования, т.е. образования, призванного развивать свободу, избавлять душу от всех ограничений, и в особенности от худшего среди них – эгоизма: "Общество, – говорил он, – должно покоиться на великодушии, т.е. на стремлении рассматривать себя как великую расу, расу героическую и даже божественную"* "Социальные разделения рождаются из того, что, с одной стороны, имеются богатые, чье богатство служит им самим, а не общему делу, с другой же стороны, – бедные, которые могут рассчитывать лишь на самих себя и видят в богатых только объекты зависти". Именно от богатых, от высших классов зависит изменение духовного состояния класса работников. "Народ, всегда готовый оказать помощь, во многом сохранил, вопреки всем невзгодам и лишениям, то бескорыстие и великодушие, которые были свойственны первым векам... Пусть пойдет сигнал от высших сфер, пусть среди тьмы он укажет нам дорогу, по которой необходимо следовать, чтобы восстановить благородство в его прежней власти: никто не откликнется на это быстрее, чем народ. Народ, сказал Адам Смит, настолько любит добродетель, что ничто его не воодушевляет так, как нравственный ригоризм"

Представив великодушие как естественное чувство, в котором мы постигаем благородство своего происхождения, Равессон в то же время уловил в нашей вере в бессмертие не менее естественное предчувствие нашего будущего назначения. Действительно, он обнаружил эту веру во всей классической античности. Он вычитал ее на надгробных стелах греков, в изображениях, где, в его интерпретации, мертвый возвращается, чтобы сообщить членам своей семьи, что он испытывает чистейшую радость, пребывая среди блаженных в обители счастья. По словам Равессона, чувство древних не обмануло их, и мы действительно встретим в иных пределах тех, кто был дорог нам здесь, на земле; и тот, кто однажды полюбил, будет любить всегда. Он добавлял, что бессмертие, возвещаемое религией, есть вечное счастье и что мы не могли бы и не должны были бы познать его, если бы последнее слово не оставалось за великодушием. «От имени справедливости, – писал он, – теология, чуждая духу милосердия, каковой и есть сам дух христианства, злоупотребляя словом "вечность", которое часто означает только долговременность, осуждает на бесконечные муки грешников, умерших без раскаяния, т.е. почти все человечество. Чем стало бы блаженство Бога, кото-

* Revue bleue. 1887. 23 avril.

рый вечно слышал бы столько жалобных голосов?.. В стране, где зародилось христианство, мы находим аллегорию, вдохновленную совершенно иной мыслью, аллегорию об Амуре и Психее, или душе. Амур полюбил Психею. Последняя провинилась, как библейская Ева, в святотатственном любопытстве; она хотела научиться без помощи Бога различать добро и зло и, скажем так, отрицала тем самым божественную благодать. Амур налагает на нее наказание, чтобы она, искупив свою вину, вновь стала достойной его выбора; но при этом он испытывает сожаление. На барельефе он изображен держащим в одной руке бабочку (душа и бабочка, символ возрождения, во все времена были синонимами); другой рукой он бросает ее в пламя своего факела, но отворачивается, словно исполненный сострадания»*

Таковы теории и аллегории, которые Равессон незадолго до смерти представил на заключительных страницах своего "Философского завещания" Среди этих возвышенных мыслей и прекрасных образов, словно вдоль аллеи, обсаженной величественными деревьями и благоухающими цветами, он продвигался, до последнего момента не думая о наступающей ночи, озабоченный единственно тем, чтобы хорошо разглядеть впереди, на горизонте, солнце, чья форма становилась видна все отчетливее по мере того как угасал его свет. Короткая болезнь, от которой он не считал нужным лечиться, одолела его за несколько дней. Он угас 18 мая 1900 г. в кругу семьи, сохранив до конца всю ясность своего великого ума.

История философии, как правило, демонстрирует нам постоянное усилие рефлексии, нацеленной на то, чтобы рассеять трудности, разрешить противоречия, все точнее измерить реальность, несоизмеримую с нашим мышлением. Но время от времени является душа, которая, как кажется, торжествует над этими усложнениями благодаря простоте, – душа художника или поэта, сохраняющая близость к своим истокам, примиряющая в гармонии, заметной сердцу, те элементы, которые, быть может, нельзя примирить умом. Язык, на котором она говорит, когда ее голос звучит в философии, не всем бывает понятен. Одни находят его неясным – и он действительно таков в том, что он выражает. Другие чувствуют его точность, поскольку они испытывают все, о чем он говорит. Большинство слышат в нем лишь эхо исчезнувшего прошлого, но иные различают уже, как во сне, радостную песнь будущего. Творчество Равессона оставит позади эти столь различные впечатления, как всякая философия, которая в той же мере обращается к чувству, что и к разуму. Никто не будет оспаривать, что форма его философии несколько расплывчата: это форма дуновения; но дуновение приходит сверху, и направление его ясно. Равессон часто повторял, что он главным образом опирался на достижения прежних веков, в частности на учение Аристо-

* Testament philosophique. P. 29 (Revue de Métaphysique et de Morale. 1901. Janvier).

теля; но дух его концепции – это дух нового, и будущее, возможно, покажет, что идеал, который она предложила нашей науке и деятельности, во многих отношениях превосходит идеал, существующий сегодня. Можно ли действовать более отважно и по-новому, чем возвещая физикам, что инерция будет объяснена через живое, биологам – что жизнь поймет себя только через мышление, философам – что общие положения не носят философского характера, учителям – что целое нужно изучать раньше, чем элементы, школьникам – что начинать следует с совершенства, а человеку как таковому, более чем когда-либо склонному в наши дни к эгоизму и ненависти, – что естественным двигателем его является великодушие?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Шевалье Жак* (1882–1962) – французский католический философ и историк философии и психологии, последователь Бергсона.

[2] Бельгийские провинции были присоединены к Франции в 1794 г., после победы французских революционных войск над австрийцами. После падения наполеоновской империи постановлением Венского конгресса 1814–1815 гг. эти провинции были объединены с Голландией в Нидерландское королевство. В результате Бельгийской революции 1830 г. Бельгия стала самостоятельным государством. Теперь г. Намюр – центр бельгийской провинции Намюр.

[3] После этого он стал называться Раввесон-Мольен.

[4] *Мишле Жюль* (1798–1874) – французский историк и литератор.

[5] Имеется в виду философия неоплатонизма.

[6] *Вильмен Франсуа* (1790–1870) – французский историк литературы, профессор Сорбонны, министр государственного образования (1839–1844).

[7] *Жоффруа Сент-Илер Этьен* (1772–1844) – французский зоолог-эволюционист, предшественник Ч. Дарвина.

[8] *Кине Эдгар* (1803–1875) – французский писатель, философ и историк либерального направления.

[9] *Кишера Жюль* (1814–1882) – французский археолог.

[10] *Летрон Жан* (1787–1848) – французский писатель и историк.

[11] *Бюрнуф Жан-Луи* (1775–1844) – французский филолог, автор переводов из Тацита.

[12] *Мольен Франсуа-Никола* (1758–1850) – французский государственный деятель, министр финансов при Наполеоне Бонапарте, граф.

[13] *Бельджоёзо Кристина* (1808–1871) – итальянская патриотка, долгое время жившая во Франции; принцесса.

[14] *Минье Огюст* (1796–1884) – французский историк.

[15] *Рекамье Жюли* (1777–1849) – жена французского банкира, прославившаяся умом и красотой; подруга Шатобриана. В ее салоне, ставшем политическим и литературным центром, собирались многие выдающиеся люди Франции.

[16] Ср.: Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи, живописца и скульптора флорентийского / Пер. А.А. Губера, В.К. Шилейко; Под общ. ред. А.Г. Габричевского. М., 1934. С. 119 (“О живописи очертаний”).

[17] *Жуффруа Теодор Симон* (1796–1842) – французский философ, последователь В. Кузена; писатель и политический деятель. Преподавал в Коллеж де Франс до 1836 г.

[18] *Дюрюи Виктор* (1811–1894) – французский историк и государственный деятель, министр образования в эпоху Второй империи.

[19] *Бернар Клод* (1813–1878) – французский физиолог, один из основоположников экспериментальной медицины.

[20] *Фландрен Ипполит* (1809–1864) – французский художник, в особенности известен как декоратор и портретист.

[21] Слово *grâce* во французском языке означает и "грация, изящество", и "благодать".

[22] *Бутру Эмиль* (1845–1921) – французский философ, представитель спиритуализма.

[23] *Песс Жан-Луи-Ипполит* (1803–1880) – французский писатель и философ.

[24] *Брошар Виктор* (1848–1907) – французский философ и историк философии.

Перевод и примечания И.И. Блауберг

ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКА "РАБОЧЕГО" ДЛЯ ХАЙДЕГГЕРОВСКОЙ КРИТИКИ МЕТАФИЗИКИ

А.В. Михайловский

В настоящей статье рассматривается интерпретация М. Хайдеггером философско-исторического эссе Э. Юнгера "Рабочий. Господство и гештальт" (1932). Основываясь на анализе отдельных трактатов, докладов и лекций Хайдеггера 30–40-х годов XX в., мы пытаемся понять значение поставленного в "Рабочем" диагноза современности для мышления Хайдеггера после "поворота". Наша задача состоит в том, чтобы показать, *насколько* хайдеггеровская критика эпохи (Zeitkritik) обязана диагностическим наблюдениям и описаниям, содержащимся в главном эссе Юнгера – иными словами, *насколько важным* для формирования "бытийно-исторического" отношения к современности явилось осмысление *метафизического языка* "Рабочего"

1. ХАЙДЕГГЕР И ЮНГЕР: ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ПОСЛЕ ВОЙНЫ?

В письме к Э. Блохманн от 3 марта 1947 г. Хайдеггер, сообщая о своих размышлениях, связанных с проблемой техники и ее определения, говорит: "Это вещи, о которых я думаю вот уже 15 лет"[1]. Про-

[1] *Heidegger M. – Blochmann E.* Briefwechsel, 1918–1969 / Hrsg. v. J.W. Storck. Marbacham; Neckar, 1989. S. 93.